

Виль Рудин

В. Г. Рудин,
1946 г.



Писатель Виль Григорьевич Рудин ушел в отставку в звании подполковника. «Я увидел Берлин в мае 1945 года... — вспоминает он. — Я был в те годы оперативным переводчиком, затем военным следователем».

Прошли годы. Имя В. Г. Рудина ныне известно читателям по книгам прозы «День икс», «Зажми сердце в кулак», «Пять допросов перед отпуском», «Тропа над пропастью», «Между вчера и завтра».

Мы поздравляем писателя В. Г. Рудина с 60-летием, желаем ему здоровья и новых интересных книг.

ПАМЯТЬ ГОРЬКАЯ, ПАМЯТЬ СВЕТЛАЯ

Люблю Гродно.

Могу часами бродить по старым улочкам...

Иду обычно от замшелых бастионов замка Стефана Батория до костела Фарного, оба шпиля которого уносятся в высоту столь стремительно, что ангел на верхушке одного из них кажется парящим над городом. С войны костел безмолвствует, но в былые времена его куранты, говорят, разносили хрустальный звон до любой точки города.

Можно от Замковой горы пойти иным путем: по Ново-Замковой выйти к драмтеатру, что возводится на круче. Невиданной архитектуры театр: беломраморные линейные конструкции связаны огромными литыми листами стекла. Листы эти сияют, блещут, бросают блики вниз, под обрыв, высвечивают зеленую, поблекшую, но ничуть не облупившуюся краску славного Т-34, что первым ворвался в Гродно в июле сорок четвертого.

А можно пойти к древней, от двенадцатого века дошедшей церкви Бориса и Глеба, зарезанных по наущению родного их брата Свя-

тополка Окаянного. Церковь эта, на слиянии Городничанки с Батькой-Неманом, от родной же реки и пострадала: в ночь на 2 апреля 1853 года Неман разбушевался, разлился невиданно, вода подмыла фундамент, и вся южная, в пять саженей длины стена ушла, увлекая за собой и часть западной стены; крыша повисла на стропилах...

Борисоглебскую православную церковь тогда же и восстановили, отсыпав склон Коложского холма наново и засадив его на будущее деревьями...

Люди, с которыми я знакомлюсь в каждый свой приезд в Гродно, все как один попадают душевные, отзывчивые. В этот, последний, раз я прошел длинную цепочку благожелательных, хотя и не знакомых мне прежде людей: я искал старый, в довоенные двадцатые годы изданный план Гродно. Владелым его оказался Владимир Прокопьевич Громаковский — архитектор, влюбленный в гродненскую старину, великий знаток родной истории и заядлый турист-путешественник. Не колеб-

лясь, он доверил мне свое сокровище, и я целую неделю перекопировал план на кальку.

Алексей Никифорович Карпюк, голова гродненских письменников, громкогласый и решительный, участник партизанской войны на Гродненщине, узнав, что меня интересует и почему, сначала удивился, потом посочувствовал. А затем свел меня с Ниной Ивановной Лещенок, работником республиканского музея — и боже мой, каких только сокровищ я не рассмотрел! Каких документов я там не начитался!

Чего же ради езжу в Гродно, на тот конец государства? Что ищу?

У каждого пишущего, как известно, свои пристрастия, свой опыт, своя любовь. И свое умение писать. Мне, чтобы писать, надо вжиться, а прежде — увидеть и ощутить. Перерывать горы архивных материалов. Заглянуть в глаза многих людей, воспринять пережитое ими волнение. Потом в моем сознании, в моей душе все это непостижимым образом переплавится, из меня потекут строки, иногда мучительно-трудные, иногда легкие, словно из ничего возникающие...

Вот уже лет десять меня волнует судьба прекрасного человека, чекиста, в прошлом полковника госбезопасности Семена Васильевича Юрина. Он прожил многотрудную жизнь людей своего поколения и скончался в августе 1983 года. О нем — книги «Тропа над пропастью» и «Между вчера и завтра». И вот — последний рубеж. Заключительная, третья книга.

Я ищу в Гродно тех, кто работал и жил здесь, в Западной Белоруссии, в предвоенном 1940 году, кто встретил здесь, в Гродно или иных городах бывшей Белостокской области, первый день Великой Отечественной... Мне нужно расспросить, узнать, вместе с ними пережить все то, что пережили они в день 22 июня — в проклятый день, память о котором навсегда влилась в сознание народа. Я нашел их в тот приезд немало: тринадцать человек. И обошел всех.

В районе Гродненских новостроек, где все чисто и ухожено — здесь так работают, здесь недоделок не бывает, — я нашел двух женщин, мать и дочь. Я был у них дважды, а в третий

раз ехать не решился. Не хватило душевных сил...

Сначала был разговор по телефону: я спрашивал, точно ли, что Мария Михайловна, так зовут женщину, жила в Белостоке в сороковом году? И точно ли, что в Белостоке застигла ее война?

Женщина на том конце провода повторила мой вопрос, и я услышал еще один голос — резкий, недовольный: «А что же ты ему станешь все про себя рассказывать? Может, еще и про папу?»

Говорю — да, конечно, и про папу тоже. Я ведь уже знал, что муж Марии Михайловны перед войной работал в областном УНКВД.

Мария Михайловна откликнулась:

— А приезжайте! Наш адрес знаете?

Я адрес знал.

Марии Михайловне сейчас уже за семьдесят. У нее звонкий, молодой голос, черные живые глаза, волосы, какие носили стахановки в тридцатые годы, только сплошь седые. Извиняюсь за вторжение, объясняю, кто я и чего ради пришел. Она быстро, но без суеты собирает чай. И вот я прикасаюсь еще к одной судьбе.

Мария Михайловна:

...До тридцать девятого года мы с мужем, Петром Михайловичем, жили в Ростове-на-Дону. Муж в том году как раз закончил московскую школу НКВД, и когда Красная Армия в сентябре начала Освободительный поход, Петю назначили в Белосток.

Он уехал один, а к Октябрьским праздникам вернулся за мной и детьми, у нас их было двое: Володе годик, а Зое уже шесть лет. Вот и попали мы все в тот Белосток...

Жили мы на улице Сташице, в одноэтажном доме с мансардой, у нас было две комнаты из общего коридора, а в двух других жил с семьей Дмитрий Тимофеевич Фадеев, он работал в управлении милиции, мы тогда называли УРКМ*, с женой его мы дружили. Ну, а

* УРКМ — Управление Рабоче-крестьянской милиции.

в мансарде жил какой-то армейский командир, один.

Я Петю в тот год, сороковой, мало видела. Придет домой на обед — и снова на работу, и уж допоздна, до часу, двух ночи, а утром к десяти снова к себе, тогда все так работали. Он был заместителем начальника УРКМ по паспортизации. Говорил — работы, мол, выше головы, но в чем его работа заключалась, этого я не знаю...

Я знаю, чем занимался муж Марии Михайловны.

После воссоединения Западной Белоруссии с СССР и включения ее в Белорусскую Советскую республику жители бывших воеводств панской Польши получили советское гражданство. У людей, следовательно, надо было изымать утратившие силу старые документы, были они на двух клеенчатых листочках под белым орлом, с фотокарточкой на железных скрепочках; а вместо них вручали советские паспорта. И никаких сил не могло хватить, чтобы в один год обменять на Белостокские более миллиона паспортов. А еще надо было регистрировать браки, рождения, смерти, разводы. Казалось бы — дело обычное, житейское, чего еще проще? Ан нет, здесь эти обыкновенные акты оборачивались нередко политической борьбой: в панские времена всем этим занимался костел, и он не хотел добровольно отдавать свои prerogatives и связанные с этим доходы. Лишь с февраля сорокового года в этом деле навели порядок, но тут началась новая карусель: с захваченных немцами польских земель люди стали перебегать на нашу сторону еще с октября тридцать девятого, шли бывшие польские солдаты и офицеры, гражданские лица, шли в одиночку и семьями: уж больно жесток был оккупационный режим в генерал-губернаторстве. У нас же — ни облав, ни прочесок, ни проверок, ни оцеплений. Там — оккупация, тут — освобождение! Люди в этом сразу же разобрались, и к лету сорокового года на нашу сторону шли через границу не сотни — тысячи людей.

Паспортные столы этих людей проверяли, выдавали советские паспорта и отбирали под-

писку: в десятидневный срок покинуть пограничную зону, а ехать эти люди могли, куда желали, хоть в Минск, хоть за Минск.

Но тут в работу паспортных столов стали вмешиваться работники исполкома: они выискивали среди беженцев врачей, инженеров, артистов, агрономов. Нужда в таких и иных специалистах была острее, это так, и Белостокский облисполком стал требовать, чтобы паспортные столы не отправляли таких людей из области, а передавали в ведение исполкомов. Это было явным нарушением паспортного режима. К тому же Петр Михайлович, видимо, понимал, что если идти и дальше таким путем, то немцы получат хорошую возможность для внедрения своей агентуры. Словом, Петр Михайлович, оказавшись человеком с характером, восстал, пошел к руководству и поставил вопрос на попа: или отменить режим, или выполнять в полной мере! Но, судя по всему, Петр Михайлович свято соблюдал чекистские заповеди, и жена о его делах не знала ровно ничегошеньки...

Мария Михайловна:

...Был Петя намного меня выше, плечи широкие, руки сильные. Очень, знаете, любил русскую косоворотку... По воскресеньям, когда свободное выпадало, с утра уже подговаривался: «Маня, у меня косоворотка черная или синяя поглажена?» Наденет — сам русский, светлый... Красивый у меня муж был! Ну, в иные дни он гимнастерку носил, синюю, с портусей.

А игрушки для детей я с собой привезла, из Ростова. И еще посуду, какую имела. Чтобы было на первый случай из чего маленьких кормить... А на новом месте за полтора года так ничем и не разжились, только что диван купили. Пете до того ли было? А мне одно на уме: лишь бы ему хорошо да покойно.

Еду брали с рынка, а рынок был дешевый и хороший, всего-то там полно, что мяса, что овощей. А раз подъехал к дому белорус — пиджачок, картузик, бороды нет, зато усы, длинные такие. А может, он и не белорус, а поляк был, кто знает? Сказал по-белорусски: «Здравствуйте, пани, меня зовут Зигмунт Габрилович. В нашем доме прежде жил немец

Шнайдемюль, так я ему раз в неделю продукты привозил. Немец тот перед приходом Советов сбежал, так если пани хочет, я и вам буду возить».

Откинул попону с тележки — ай, боженьки! Чего там только нет! Глиняные корчаги, а в них сметана — густая, не колыхнется! Молоко — не молоко, сливки... Ну точно, что из деревни. Развернул он промасленную бумагу, а там колбаса, своя, домашней выделки, и сало, и грудинка... А запах — господи!

Соседка прибежала — что? откуда? Берем! Конечно, берем, вы нам всегда возите! Не обидим!

Год он нам возил, приезжал по пятницам. Как праздник у нас был, он с девочкой ездил, беленькой, с косичками, и Зоя с ней дружила... Да... Вот этот Зигмунт Габрилович весной сорок первого мне и говорит — лета, пани, ждете? А лучше бы вы, пани, прежде лета уехали домой, да и с детками. Придет, говорит, лето, и придет война. Красный петух, верно, победит, но прежде много крови прольется...

Мария Михайловна смотрит на мою руку — я спешу за ней, боюсь, не все схвачу, не все запишу, не так запишу. А останавливаться, просить, чтоб говорила медленнее, не хочу: она сейчас там. В той жизни.

Мария Михайловна смеется:

— И про красного петуха записали? Для чего вам? Все равно же не поверили...

А я знаю по оперативным сводкам на весну сорок первого года, что с весны пошли на Белостокские разговоры: летом быть войне!

Семен Васильевич Юрин, к тому времени ставший заместителем начальника Белостокского УНКГБ, решил доискаться, откуда вдруг такие панические слухи и почему они возникли сразу, одновременно по нескольким районам? Оказалось, что шли они с той, с немецкой, стороны. О том, что скоро в Белосток придут немцы, писали живущим здесь полякам их родственники из приграничных районов генерал-губернаторства; об этом же говорили люди, ходившие через границу с контрабандой.

К первому июня Семен Васильевич подготовил спецсообщение для НКГБ республики, однако был ли документ отправлен — этого я

пока не знаю. Не докопался. А если отправил, то обязательно придется донскиваться, как восприняли документ в наркомате...

Мария Михайловна:

...Нет, правда, хоть верьте, хоть не верьте, но Зигмунт так сказал, про красного петуха: победит. А я, знаете, и не поверила про войну: с немцами был пакт, в газетах ничего страшного не писали... Ведь могла же я по-другому решить: муж как раз ехал по путевке в Ялту, могла бы и я с ним собраться, до Харькова попутно, а там увезла бы ребятишек в Ростов... Может, и не выпало бы на нашу долю столько лиха... А я такая спокойная была, мне радостно жилось: и муж хороший, ласковый, меня любит, и дети здоровые...

Вот Петя уехал, а мне вскорости Фадеев говорит: Мария, готовь Заньку, в пионерлагерь отправим...

Лагерь был в Крынках, это райцентр так называется, километрах в восьмидесяти от Белостока, в сторону Гродно. Я, правда, там не была ни разу, но говорили, что лагерь хороший, и в лесу, только реки нет. Дети там жили в палатках, брали их на время у пограничников...

Вот привела я Зою во двор управления, минутку только постояла, и пошел у меня в ушах звон: восемьдесят ребятишек собрались, от первоклашек, вроде моей, до таких, что уже и матерей переросли, и всем весело, смех, крики... Их по двум автобусам рассаживали, родители за чемодашки да рюкзаки волнуются, тоже кричат, прощаются, а тут оркестр заиграл, автобусы тронулись, медленно так, и сразу на улицу...

Вовочке уже два года с половиной было, он был мальчик крепенький и смысленный. Я его на проводы Зои с собой брала, он не плакал, не капризничал, ему весело было: народу полно, и главное, музыка... Ну вот, уехали автобусы, и пошла я домой...

Я себя в Белостоке хорошо чувствовала. Не как в Ростове, конечно, там все же родина моя, но мне в Белостоке легко дышалось. Я веселая была, со мной люди как-то сразу сходились. Я сначала не знала ни по-белорусски, ни по-польски, а все меня понимали...

Вот я вам расскажу: Петя мне раз дает деньги и говорит: «На пальто тебе, ни на что другое не трать!» А у меня до сорокового года и не было его, пальто этого, в жакетке ходила. И вот пошла я к польскому портному, к частнику. Сказала, чего хочу, и думаю: то ли понимает, то ли нет? Стоим, друг на друга смотрим, и оба улыбаемся. А он выкладывает на прилавок три штуки бостона, говорит: пусть пани выберет... Он мне такое пальто пошил — как пушиночка, красивое, по фигуре, а фигура у меня в тридцать лет ничего была, подходящая, сама знаю...

Июнь летел быстро.

В субботу, двадцать первого, вернулся из Ялты Петя. А я за день перед тем получила от Зоиньки записку: дочка просила забрать ее. До конца смены была еще целая неделя, но дочке что-то зануджилось, что ли. А может, просто соскучилась, она же прежде в лагерь не ездила... Вот я и сказала Пете, давай, мол, поедем в Крымки, привезем Зою. А он такой приехал до меня радостный, и так уж нам в тот день хорошо было друг с другом... Нет, отвечает, давай сегодня не поедем, побудем вдвоем, а завтра воскресенье, мне, говорит, на службу еще не идти — вот и съездим забрем...

Вечером, перед сном, взяли мы Володю и пошли все гулять в парк, лебедей в пруду покормили...

Под самое утро, часам к четырем, уже свет занялся, грохнуло рядом с домом, показалось — совсем близко... И звон, стекло посыпалось... И самолеты в вышине гудят... Я говорю Пете: «Война!» А он заспешил, засобирался — гимнастерка, портупея... А в дверь уже колотят: «Товарищ капитан! Срочно в управление!» Он мне в дверях еще говорит: «Ничего не бойся, их сейчас отгонят!»

Он прибежал через два часа, сказал: Мария, приготовься, за тобой заедут, тебе все скажут. За детьми в пионерлагерь, говорит, уже уехали, а у меня задание... Какое задание — он, конечно, не сказал.

Я знаю, какое задание было у Петра Михайловича Хорошилова. Он должен был уничтожить десятки тысяч чистых советских пас-

портов. Хорошилов отвечал за то, чтобы ни один чистый бланк, ни один подлинный штамп милиции и НКВД не попал в руки абвера или гестапо, если немцы все же захватят Белосток — в те первые часы войны едва ли кто в Белостоке представлял себе ту огромность вражеских сил, что обрушились на наши 10- и 3-ю Армии в Белостокском выступе; иные думали, что это не война еще, а лишь крупная провокация, цель которой — вызвать нас на ответные действия, чтобы таким путем получить предлог для широкой войны. Отсюда первая реакция тогдашнего командующего Белорусским Особым военным округом: «Дать отпор, но границу не переходить!» Иные считали, что до Белостока немцев не допустят, отбросят...

Но Петр Михайлович Хорошилов в шесть часов утра 22 июня привез на городскую электростанцию полный грузовик советских паспортов и разных бланков. С ним были еще двое или трое милиционеров. В шесть пятнадцать начался воздушный налет, немцы бомбили прицельно, нашей авиации уже не было, ее накрыли на аэродромах еще в четыре часа утра.

Я хочу, чтобы вы поняли, что свершил обычный капитан милиции Петр Михайлович Хорошилов: он жег в топках доверенные ему советские паспорта, хотя электростанция сама рушилась под немецкими бомбами. Он жег. Он не отходил от топок. Там, под развалинами электростанции, он и погиб.

Мария Михайловна:

...Нет, я не знала тогда, какое у него было задание. Я стала собираться, потом махнула рукой: а что собирать? Взяла детскую одежку для Володи и Зои, из своего увязала в узел лишь пальто: уж так мне его жалко стало бросать!

Тут прибежала Таисья Тявкина, она и ее муж работали в УРКМ, хорошая была женщина, отзывчивая. Она и в комнаты не вошла, с порога закричала: «Маруся, мигом беги в управление, там уже на машины грузятся!» А уже часов семь. Соседей, Фадеевых, нет и в помине, я и не заметила, когда они ушли.

Я говорю: «Господи, а как же Зоя?» «Не

волнуясь, — отвечает, — за нашими детишками ушли два грузовика, их прямо к вокзалу привезут». И фамилию назвала, тоже в УРКМ работал, кому поручено детей привезти. Я успокоилась: человека этого знала, не раз слышала его речи с трибуны — о твердости в борьбе с классовым врагом, о верности Родины...

Грузили нас на машины в том же дворе, откуда две недели назад отправляли ребятшек в пионерлагерь, колонной поехали через город к железной дороге. Привезли — стоит состав, вагоны пассажирские. И только начали грузиться — налетели немцы. Не знаю, почему нас не бомбили, только обстреливали из пулеметов. Все стекла по вагонам повыхлестывали, и убитые были, и раненые. И никто из вагонов не убегает, все равно грузимся.

Вот они улетели, а тут бегут железнодорожники, кричат: «Одъезд! Одъезд!» Я даже не сообразила, что по-польски кричат. И мы тронулись, а через час немцы снова налетели, теперь стали бомбить...

Успеваю поднять глаза на часы прямо передо мной, на книжном шкафу.

За окном мягкая, теплая белорусская осень, от звонких золотистых листьев, еще и не начинающих облетать, в окно льется ясный свет. Понимаю, что пора и честь знать. Женщина отчего-то притихла в кресле... А душе моей все еще мало... Решаюсь: была — не была, один вопрос еще задам!

— А что, Мария Михайловна, как же дети из лагеря? Их привезли?

Она молча качает головой, вздыхает, потом улыбается:

— Чай-то ваш совсем остыл. Давайте я снова подогрею, а пока расскажу.

Она убегает на кухню, я слышу, как вспыхивает газ. Женщина возвращается — низенькая, сухонькая, стремительная. И все улыбается: «А нравится вам у нашем Гродно?»

Я киваю — да, конечно. И молчу.

Она садится в кресло по ту сторону низенького журнального столика, на котором я разложил тетрадки, придвигается совсем близко...

Мария Михайловна:

Эшелон тронулся — я от окна оторваться не могу: вот-вот детей привезут, вот-вот... Потом, помню, к двери кинулась, из вагона на ходу выпрыгнуть хотела, меня женщины схватили, не пустили... Так мы и уехали...

У Марии Михайловны в лице отчаянье, будто все только вчера было. Да, говорю, как все страшно случилось... А дети-то как же? Ведь грузовики за ними пошли?

— Ну и что, что пошли? Дети все там остались. У немцев. И Зоинька тоже.

На другой день я к Марии Михайловне не поехал. У меня еще прежде была условлена встреча с Василием Петровичем Сукрыстик, человеком в Гродно широко известным: его стараниями в школе, где он директор, создан мемориальный музей генерала Дмитрия Михайловича Карбышева.

Ехал я в этот самодельный музей с опаской, ибо во многих подобных музеях бывал. Видал и такие, в которых ничего, кроме газетных вырезок и цветных картинок нет, а тоже ведь — «музей». Тут уж хоть то хорошо, что дети при деле, вовлечены и охвачены, мне же с таких музеев проку мало.

У Василия Петровича музей невелик, в отдельном здании, в школьном дворе, три светлых зала на втором этаже. Стенды, экспонаты — я поразился: подлинные вещи генерала, письмо из Гродно родным, в Москву... Потом, видя мой горячий интерес, с величайшей торжественностью показали папочку, что хранится в фондах музея, иначе сказать, в обычном шкафу. И были в той папке листочки плотной желтоватой бумаги, исписанные круглым, твердым, профессорским почерком самого генерала...

Откуда, говорю, у вас такие реликвии? Оказывается, передали в дар музею вдова и дочь Дмитрия Михайловича. А можно их полистать? Да, отвечают, пожалуйста, только здесь. Стал листать — а это оценка фортификационной обеспеченности Гродненского приграничного участка... Ах, ты, господи! Скопировать-то позволите? Ну, говорят, если надо...

Потому я к Марии Михайловне и не поехал.

Но из гостиницы вечером позвонил. Не воз-
ражаете, спрашиваю, если я завтра с утра?

Она смеется: а приезжайте, я вам портрет
Пети покажу. И у дочки завтра день свобод-
ный, с ней поговорите.

Я не сразу понял, переспросил: это у какой
дочки?

Мария Михайловна совсем развеселилась:
как это какой? У меня, говорит, одна была и
есть: Зоя.

— Так она же у немцев..?

— Да, прошла через это.

— Ага, понимаю. Тогда до завтра, до деся-
ти утра.

Ночью мне привиделось огромное поле спе-
лой ржи. Через него медленно ступали густые
цепи латников, их тяжелые копыта были подня-
ты вверх остриями. Я парил над воинами и
все хотел увидеть, много ли их и где враг. Я
поднимался на крыльях все выше и выше, но
сколько ни всматривался, ничего иного уви-
деть не мог: из дальней, сизой мглы, как за-
чарованные, медленно выступали все новые и
новые цепи, шли подо мной на тот край поля,
где было черно от гари. Там пробивалось пла-
мя, оно вдруг охватило все поле разом, и в
огненном кольце я, спустившись пониже, уви-
дел крохотную девочку в розовом платьице...
Я рванулся к ней, в ушах мощно засвистел ве-
тер — и понял вдруг, что крыльев больше нет,
что я падаю и мы оба сейчас погибнем, ведь
я упаду на девочку... Я закричал: «Отбегай!
Берегись, Зоя!» И проснулся.

Утром я сбежал на рынок — напротив гости-
ницы, через дорогу, — и купил для Зои вино-
град, сливы, два граната... Потом сам удив-
лялся: что на меня нашло? Отчего я ровно на
час забыл, что Зоя была девочкой в сорок
первом году, сорок три года назад?

Марии Михайловны дома не оказалось, ме-
ня встретила Зоя. Зоя Петровна. Высокая,
статная женщина лет пятидесяти. Усадила в
кресло, села напротив, молчит. Нет, думаю, у
нее характер отнюдь не мягкий, в отца уда-
лась, не в мать... Эта в один миг не раскроет-
ся, надо запастись терпением... И вот начала
она меня прощупывать: так вы, мама говори-

ла, из писемников? Что же, и член Союза?
А то тут в прошлом году приезжал один, то-
же про себя говорил, что писемник, даже
визитные карточки имел. А после оказалось —
самозванец. А ведь «по ветеранам», как вы,
ходил.

Она смотрит на меня в упор, без улыбки, и,
видимо, понимает, что неудобно мне сейчас: ну
в самом деле, не доказывать же, что я хоро-
ший... Вздыхает:

— Ладно, чего уж там! Из Сибири, значит,
к нам приехали? Расскажу, конечно, только
ни о чем не спрашивайте, ладно? Я сама...

Зоя Петровна:

Я в тот год поехала в лагерь первый раз, и
мне сначала все очень понравилось: сосновый
бор густой-прегустой, и кормили хорошо, и ве-
село было... Но потом я что-то по маме соску-
чилась, по братику... А тут из Белостока к
одной девочке папа приезжал, и я с ним по-
слала записочку домой, чтобы скорее забрали.
Первый день за мной не приехали, я спать ло-
жилась, думала: ну, а завтра мамочка при-
едет... Она и на второй день не появилась. И я
решила: завтра — обязательно!

А завтра нас подняли всех на час раньше и
стали кричать: «Дети, скорее! Дети, скорее!»
Никакой физзарядки, никакого умывания, ни-
какого завтрака. Стояли уже у въездной арки
два грузовика, в кузовах скамейки. Велели
нам забирать из каптерки свои чемоданы — и
бегом марш в машину! Кто к машине прибе-
гал, тем в руки сверток с едой: хлеб, яички,
колбаса, огурцы...

И я, когда забралась в машину, спросила де-
вочек: «Так нас уже домой увозят?» Даже
вроде жалко стало, что лагерь кончился. А
одна большая девочка покачала головой: глупы-
шка ты несмышленная, говорит, сегодня
ночью немцы напали, войну начали!

Мы тронулись, обе машины вместе.

Пока по лесу ехали, ничего было, не хо-
лодно вовсе. А как на большую дорогу выеха-
ли, сразу ветром задуло, холодным, и у меня
унесло тубетейку, хорошая была, с золотыми
кружочками...

И вдруг нас остановили, там, где две доро-
ги перекрещивались.

Начальник лагеря выскочил из кабины, стал ругаться, а командир какой-то стал на него кричать: «Что мне ваш НКВД? Что мне ваши дети? Машины забираю для военных нужд! Да, на свою ответственность! А детей ведите вон в село, там возьмете подводы! Ссаживайте детей, не применять же мне силу!»

Смотрю, а с командиром три или четыре красноармейца, и у них винтовки со штыками...

Едва ли дознаюсь когда-нибудь, кто забрал грузовики. Допускаю, что это мог сделать какой-нибудь командир, чьи бойцы нуждались в срочной помощи. В такой же мере допускаю, что отобрали машины немцы в нашей форме: я знаю, что в первые часы войны в боевых порядках 10-й и 3-й Армий действовали многочисленные группы, заброшенные абвером-II через границу. Одетые в нашу форму, на наших машинах или мотоциклах, они захватывали или уничтожали старших командиров, передавали колоннам ложные приказы, рвали связь; солдат спецполка «Бранденбург-800», действовавших в Августовском и Гродненском районах, отличала исключительная жестокость: в полночь на 22 июня несколько «бранденбуржцев» в полосе 123-й немецкой пехотной дивизии переоделись в форму таможенников и на контрольном погранпункте в упор расстреляли ничего не подозревающих наших пограничников; в Брест-Литовске абвер-III пытался с помощью диверсионной группы захватить наши штабные документы до того, как их сожгут — при нападении использовались огнеметы...

Словом, могу предположить разное, однако со всем этим я разберусь позже, а сейчас главное — не пропустить ничего из рассказа Зои Петровны: второй раз могу ее и не разговаривать...

Зоя Петровна:

Мы сидели на поляне, до села было совсем близко. Потом подъехал начальник лагеря на подводе, и еще пять или шесть подвод, и снова нас вожатые торопили: «Дети, скорее! Скорее, дети!»

Было тряско, мы ели на ходу, подводы не бстановливались, уже вечерело. Потом пала ночь, тихая, теплая, с огромными-преогромными яркими звездами на черном небе. Я хотела спать, но вожатые почему-то спать не давали, все время тормошили и кричали: «Дети, не спите! Дети, не спите!» Может, боялись, что во сне кто-нибудь упадет и убьется?

И вот утром мы оказались в городе Кремянцы, и нам велели сложить в чемоданы красные галстуки, и еще книги, и справки, какие у кого были, и письма от родных — все, все. Потом вожатые отнесли эти чемоданы в подвал костела, и мы поехали дальше. У меня осталось одно лишь одеяло, тонкое, шерстяное, коричневое, я его бросать не хотела, хотя на нем была нашта метка... А еды уже у нас никакой не осталось, и хотелось есть... А мы все ехали и ехали...

Дети ехали...

Их везли не в Белосток, их везли в обратном направлении, все дальше и дальше, и к утру 23 июня они были под Волковыском, а потом их довели до самой почти Зельвы.

Что же происходило здесь, на северном фланге Белостокского выступа, в первый день и первую ночь войны?

С 4 часов утра 22 июня 3-я танковая группа немцев двумя своими корпусами ударила в самый стык наших Западного и Прибалтийского фронтов, правым своим флангом группа навалилась на нашу 56-ю стрелковую дивизию, прикрывавшую Гродно с севера. Такого чудовищного напора дивизия выдержать не могла, и она после короткого, но кровопролитного боя откатилась от границы за Гродно, на юго-восток от города, и попыталась зацепиться за Неман. Вечером 22 июня Наркомат обороны дал директиву командующему Западным фронтом Павлову за ночь собрать кулак из трех корпусов — 6-го и 11-го механизированных и 6-го конного, — и утром 23 июня ударить во фланг подтянувшегося сюда 20-го армейского корпуса немцев (он был из 9-й немецкой армии).

Наш 11-й мехкорпус подхода 6-го кавалерийского не дождался: конные дивизии стяги-

вались к Гродно своим ходом из Ломжи и Волковыска, за десятки километров, и на расвете 23 июня немцы обнаружили кавалерийские полки на марше и накрыли их бомбовыми ударами. Генерал-майор Мостовенко, командовавший 11-м мехкорпусом, нанес удар только своими силами, сковал в районе Гродно четыре дивизии немцев, на четыре дня задержал их выдвижение к Лиде — большего он сделать не мог. Но и это был подвиг.

Вот почему ночь на 23 июня под Кремянцами и Волковыском была тихая, спокойная. Но теперь дети оказались в том самом районе, куда через два дня будут отходить с севера и с запада разбитые в жестоких боях корпуса и дивизии 3-й и 10-й наших армий. Здесь, в Белостокском «котле», — я это знаю, — немцы навяжут им беспощадные, непрерывные недельные бои на уничтожение. Какая же судьба уготована оказавшимся здесь детям из пионерского лагеря?

Зоя Петровна:

Утром 23 июня случилось вот что: нас ссадили с подвзд, возчики сразу уехали. Нас всех посадили в круг, на поляне. Начальник пионерлагеря вышел на середину, сказал: «Дети, мы больше не можем отвечать за вашу безопасность. Дети, мы не можем вывезти вас из окружения, фашисты уже обошли нас со всех сторон. Вы должны будете остаться здесь. Вы разойдетесь по два-три человека по селам и будете ждать, пока наши вернуться. Никому не говорите, где работают ваши отцы».

И тут все взрослые быстро сели в одну телегу и поехали по дороге. Несколько мальчишек побежали за ними, стали кричать: «Стойте! Куда же вы!»

А я не знаю, что сказать об этом решении. Было ли оно единственно правильным в той обстановке второго дня войны? Или можно было решить иначе?

Из Белостокского «котла» после тяжелейших недельных боев вырвались немногие — одна танковая дивизия, одна кавалерийская, четыре стрелковые. Но, пробившись к своим в район Столбцы — Налибоки — Новогрудок, вместе с другими нашими частями вскоре же

оказались в новом окружении, ибо 30 июня восточнее Минска соединились 2-я и 3-я танковые группы немцев, замкнув широкое кольцо окружения всего минского укрепрайона, и снова пришлось прорываться...

Едва ли можно было спасти детей, следуя с ними за каким-нибудь полком, под непрерывным градом бомб и снарядов, ибо бои здесь с 22 по 30 июня не прекращались ни на один день, ни на час.

Не думаю также, что была возможность провести незаметно восемьдесят мальчишек и девчонок через немецкие тылы. И теперь Зоя Петровна рассказывает о таком, чего я попросту не знаю...

Зоя Петровна:

...И мы стали делиться по двое, по трое.

Нас было три девочки, только я была совсем маленькая, а те две — большевики. И мы пошли в Белосток.

Откуда было нам знать, где он, тот Белосток, в какой стороне... Позже, уже взрослой, я прикидывала: до Белостока от Зельвы по прямой полтора километра. Сколько бы дней идти? Просто там оставались родители. А уж куда мы шли на самом деле, мы не имели понятия.

У одной девочки, у Тани, одеяло тоже было, только красное, а у меня коричневое. И когда летели немецкие самолеты, мы ложились на землю и накрывались одеялами. Снизу красным, а поверх моим, коричневым. Я девочкам говорила, что летчик сверху увидит коричневое и подумает — камень...

К обеду шли по дороге, справа рожь, слева зеленый луг, а во ржи красноармейцы. Я маленькая была, не понимала, что они делают, а Таня говорит: «Девочки, это они окопы роют». Нам красноармейцы кричат: «А ну убегайте! Убегайте отсюда, сейчас стрелять начнут!» А за той рожью, не очень далеко, село горит, и над селом черное небо... Мы побежали прямо через зеленый луг, потом кусты были, и снова рожь... И забежали мы в село, я потом узнала — Корневицы, Зельвинского района, а тогда не знала, как называется.

Идем по дороге, у изб женщины стоят, на нас смотрят. Одна окликнула: «Девочки, а ку-

да же вы?» Таня сказала, что в Белосток. Тут нас окружили, нанесли хлеба, налили в кружки молока. Мы поели, а они еще в запас дают, а мне даже торбочку дали, белую, я туда и хлеб положила и бутылочку с молоком...

Ну, сказали мы всем спасибо и опять пошли. Прошли все село, вышли на косогор да и стали: далеко с пригорка видно... Слева солнышко закатывается, большое-пребольшое, и весь горизонт впереди пылает. Над огнем черная туча клубами идет из края в край, а над ней самолеты носятся... И тихо, совсем тихо, потому что далеко очень...

До того нам жутко стало — мы обратно пошли, в село, и у первой же избы остановились, сели на полянке и молчим. Совсем растерялись... Мне тогда восемь лет всего и было, другой девочке одиннадцать, а Тане двенадцать... Я их совсем большими считала, а тут вижу — у них лица белые...

Нас сразу женщины окружили, стали спрашивать, чьи же вы такие, куда идете? Таня стала объяснять, что мы из Белостока, шли обратно, да только теперь дороги не найдем...

Тут одна женщина и говорит Тане: «А что, пойдём ко мне, я тебя возьму, пока лихо у меня поживешь. Пойдешь?» А тут другая говорит второй девочке: «Если хочешь, я тебя к себе заберу».

Таня и другая девочка встали, а я заплакала, до того мне обидно стало, что на меня-то никто и не посмотрел. Стала я плакать, а сама причитаю: «Кто же меня возьмет? Почему меня не берут?» А женщины вокруг стоят, молчат... И тут одна говорит: «Ну добже, ту мы с маткой бежем». По-польски сказала, а я все равно поняла.

Звали эту женщину Яня, Янина, ей тогда было двадцать лет, а матери далеко за пятьдесят, Яня у нее младшая была, она для меня была бабушкой, я ее так и звала: бабушка.

Отец Яни Константин Корноцевич в тот день косил сено где-то далеко от села, домой вернулся к вечеру. Я боялась, что он меня увидит и прогонит, он очень сердитым мне казался. Он ужинал, а я у двери на скамье сидела. Он потом говорит Яне: «Где советку спать положишь?»

Я у них все по хозяйству делала; и в избе

мыла, и дрова к печи носила, и снег отбрасывала; и корову пасила. (...она так и сказала: «пасила», я еще подумал, надо проверить, то ли по-польски, то ли по-белорусски?), и за свиньями ходила, и на покос... А бабушка целый год все ворчала: ты, говорит, нехрист, а не хочу, чтобы Перун хату разбил! Я думала, она про вешего Олега знает, а она Перуном молнию называла... В сорок втором или сорок третьем году бабушка сказала: «Пуйдземі до косцелу, я тебя научу».

Я пошла.

Ксендз что-то лил, поливал, что-то говорил, я уже хорошо по-польски знала, а его ни словечка не поняла, но стояла смиренно, как бабушка Корноцевич велела. И стала я после этого не Зоя, а Зося.

Я почему-то долго побаивалась деда, Яниного отца. Он был молчун, лицо грозное, брови густые, черные, и усы тоже черные, длинные, вниз висят. А раз я Яне говорю: «Дайте мне поесть, пшепрашам». Я думала, деда нет, а он услышал. И спрашивает меня сердито: «Что же сама не берешь?» Я говорю: «Не знаю, сколько можно, а то боюсь, что никогда не наемся». После этого дед как домой придет, первым делом спрашивает бабушку или Яню: «Советка ела?» И так уж я его полюбила...

С июля сорок четвертого года, как наши пришли, стали мы с дедушкой Корноцевичем искать моих родителей. Ходили мы с ним в село, в Кремяницы, это от нашего хутора километра три, и писали на почте заявления в Красный Крест. Писал-то дед, я ни писать, ни читать не умела: по-русски за четыре года разучилась, по-польски не выучилась. Писали еще в райцентр, в Зельву, и в область, в Гродно, но ответа нигде не было.

Вот раз весной сорок шестого года, наверное, в начале марта, приехал в Кремяницы кто-то из милиции, из Гродно, покупать рожь. Ходил по избам и заглянул к Корноцевичам.

Сидят они с дедушкой за столом, ужинают, бутыл дед поставил — понимаю, что дед с выгодой рожь продал, раз угощает. А я кричу: «Яешня поспела!» Я им яшницу на свинном сале жарила в кухне. Дедушка тоже кричит: «Так неси!»

Я принесла, а этот человек из милиции на меня смотрел, смотрел, потом деду говорит: «Для тебя с бабкой вроде мала дочка-то, а Яня и замужем не была. Чья девочка?»

Дедушка кусок яешни подцепил, да мне на тарелку, — садись, говорит, Зося, поешь с нами. Потом говорит этому из Гродно: «А советка у меня с войны живет. Вот родителей ее ищем, да сыскать не можем».

Милиционер меня и спрашивает: «Ты-то хоть сама помнишь, кто ты и чья ты?»

Я яешню и жевать забыла, отвечаю: «Конечно, папу зовут Петр Михайлович Хорошилов, а маму Мария Михайловна, мы жили перед войной в Белостоке».

Он встал, взял меня за руку, к окошку подвел, чтобы лицо лучше было видно, смотрел, смотрел, да и говорит — не пойму, мол, на кого похожа, а бату твоего я хорошо знал, я с ним в Белостоке работал... Значит ты капитана Хорошилова дочь?

Потом они с дедушкой еще выпили, милиционер и говорит деду: отдай, мол, мне девочку, я ее в детдом определю, а пока мать поищем — может, найдется.

Вот я услышала и сомлела вся от страха: неужто отдаст? А дед меня обнял за плечи, к себе прижал — и молчит. Потом отпустил меня — нет, говорит, тебе не отдам. Мать найдешь, так пусть приезжает, ей отдам, а тебе — нет. И зачем ей в приют, у нее дом есть...

Вот он уехал; милиционер-то, а я совсем покой потеряла: все думаю, какая у меня мама была, добрая и веселая, и братик, а по ночам стала мне сниться наша комната, та, что была у нас в Белостоке; Яня, наверное, понимала, что мне худо — такая стала добрая ко мне... Месяц прошел, другой — никто мне не пишет, никто за мной не едет. Стала я успокаиваться, а месяца через три, ближе к осени, погнала я раз коров пасить, и соседские девочки со мной, а тут бежит Яня, кричит: «Бежим скорее в Кремьяницы, там на почте письмо для тебя лежит! А девочки за коровами присмотрят!»

Как у меня сердце из груди не выскочило — не знаю, но все три километра так бегом и бежала, и Яня со мной. Бежим, плачем, а чего плачем, и сами не знаем.

Письмо мне отдали, я на конверт смотрю, а прочитать ничего не могу, не понимаю. Яня тоже по-русски не читает...

Принесли мы это письмо домой, поставили к бабушкиному распятию, а я села напротив и от конверта, плотного такого, глаз оторвать не могу... Бабушка конверт взяла, сбоку ножичком надрезала, аккуратно так, и вынимает оттуда фотоснимок. Я как глянула, так и закричала: «Это мой папка! Это мой папка!»

А Яня говорит — ты, мол, фото с собой не бери, пусть дома будет, а сама беги на выгон, там девочки одни же остались. Вечером, говорит, корову пригонишь, как раз из Зельвы дедушка вернется, письмо тебе прочтет, он по-русски и говорит, и читает...

Было это письмо от мамы, она писала, что живет с Володей в Ростове, а о папе нашем с первых дней войны никаких вестей нет. И еще спрашивала, помню ли я всех, и просила, чтобы я ей про себя написала... А я слушала дедушку Константина и думала — конечно, я их всех помню. Сiju, слезами обливаюсь. Дед говорит, что же ты теперь ревешь? Матка сыскалась! А я — как же я ей напишу? Я же по-русски не умею...

Зоя Петровна отвела глаза в сторону, достала платочек, молчит. Я тоже помалкиваю. И слышу, дверь в прихожую отворилась. Мать пришла, Мария Михайловна — быстрая, радостная. И — мне:

— А вы еще не ушли? Вот кстати, сейчас обед соберем!

Охотно откликаюсь — чувствую, Зое Петровне надо дать передохнуть:

— Обедать так обедать, только вы, Мария Михайловна, мне сначала вот что скажите: кто же он был, тот человек из милиции, что Зою Петровну нашел? И еще: вы когда за Зоей приехали?

Мария Михайловна словно не замечает состояния дочери, говорит ей как ни в чем не бывало: пойди, мол, Зоя, на кухню, похозяйничай, а то я от рынка пока доехала, устала вконец...

Остались мы вдвоем, а Мария Михайловна мне шепотом:

— Вот я и не знаю, кто Зою нашел, а мне о ней написал Фадеев, наш бывший сосед по Белостоку, он в милиции так и работал, только в Гродно... Тогда, знаете, на поездку в пограничную зону пропуск требовался, надо было хлопотать, да и с работы не сразу отпустили... Собралась я лишь на другой год, в конце апреля, и приехала я в Гродно. У меня адрес был, Шура Фадеева написала, где ее искать, и я их квартиру сразу нашла. Стала перед окнами и давай реветь. А взрослых в тот час никого дома не было, одна Нина, дочка Фадеевых, и она меня в окно увидела и не признала, испугалась. Наверное, через час Шура Фадеева домой пришла, а Нина ей говорит: «Вон, смотри, сидит на лавочке цыганка черная, на наши окна смотрит. Боюсь ее».

А Шура меня сразу узнала — выскочила из дома, кричит: «Маруся! Маруся! Милая!» Потом Фадеев с работы пришел... Я у них день прожила, маленько с дороги опомнилась и дальше поехала, в Зельву, а оттуда в Кремяницы... Ехала и все боялась, что вышла ошибка: может, там вовсе и не Зоя; или, может, и Зоя, но она не помнит меня, а я не узнаю...

С тарелками в руках вошла Зоя Петровна. Она, видимо, слышала, что говорила ее мать, сказала:

— А правда, я за пять лет сильно выросла, просто дылда стала. Старое мое платье Яня в одеяло завернула еще в сорок третьем году и спрятала, оно мне совсем мало стало... Мне Яня два платья из своих перешила, я была длинная и тощая, но в кости сильная...

— Так вы, — спрашиваю, — дома были, когда мама приехала?

— А нет, я в тот день снова коров пасила, за мной опять Яня прибежала, говорит, беги домой, там мама твоя приехала, а я с коровами побуду... Ну, я побежала... А как ее увидела в избе, черную, худую, и глазички во какие! — сразу закричала: «Мама! Мамочка!»

А бабушка встала, сердитая такая, говорит: Зося, то не есть твоя матка, то есть цыганка. А я в маму вцепилась, кричу: «Нет, то мама, я ее узнала!»

Мария Михайловна:

А я до последнего мига сомневалась, Зоя

очень выросла, правда. Вот пройди она мимо меня на улице, ни за что бы не признала. Но она сама меня узнала, спрашивает: «А где братик? Где Вова? А папка нашелся?»

Вечером Яня, когда уже коров пригнала, достала откуда-то сверток и говорит: гляньте, может, узнаете? А там одеяльце Зоино, я же на него сама метку нашивала, когда Зою в лагерь отправляла. И платице ее, синее, сатиновое, я же его сама шила...

А дед Корноцевич, когда Зою спать отправили, мне говорит: «Что же ты ее забереешь? Сама не устроена, где с двумя детьми жить будешь? Где работать? Чем детей накормишь? А у меня Зося сытая, одетая, обутая. Да и привыкли мы к ней с бабкой, тебе отдавать — как от живой души отрывать...» «Давай, — говорит, — так сделаем: поезжай одна, Зося здесь пока оставь, а как устроишься, дом свой получишь — приезжай, отдам».

Вот утром я собралась, а Зоя от меня ни на шаг... А я понимаю, что сама должна ей все сказать: ты, Зоя, пока тут останься... Язык не поворачивается... Потом говорю: «Зоя, я попросила дедушку Корноцевича, чтобы ты у них еще немного побыла, мне надо обратно ехать, в Ростов, за Володей, а как его привезу в Гродно, так сразу за тобой приеду и заберу. Хорошо?» А Зоя молчит. Пошла я с хутора Корноцевичей в село — она за мной. Идет и молчит. Я говорю: дурочка, не бойся, теперь уж я тебя не оставлю, только потерпи маленько...

Зоя Петровна:

Ну да, маленько! Полгода тебя и не было, до самой осени!

Мария Михайловна:

Вот, до сих пор обижаюсь! А того в расчет не берет, что до Ростова путь не близкий, а в сорок шестом все не так было, как нынче. Ох, и тяжело мне те две поездки достались — от Гродно до Ростова, а потом с Володей обратно! Ехала где в общем вагоне, где в товарном, а где и на тормозной площадке... Но я с помощью Фадеева, спасибо ему, в Гродно заранее обо всем договорилась, мне и работу обещали, и жилье. И правда, осенью, как при-

ехала, так устроилась сразу же. И Корноцевич мне дочку отдал — так отдал, по душе, у меня же никаких документов на дочку не было, я все метрики и свой паспорт в Белостоке в первый день войны оставила, такая тогда суматоха была... После уж, как Зою забрала, все оформила...

Зоя Петровна:

А дедушка Корноцевич, пока жив был, часто к нам с мамой в Гродно приезжал. Он у нас как свой был... И всегда что-нибудь привозил: то сало, то домашнюю колбасу, то масло... Нет, правда, если его долго нет, я уже беспокоиться начинаю, не случилось ли чего... Иногда и Яня приезжала. Но она вскоре замуж вышла, за ихнего, из села, и дети пошли, не до нас ей стало... А последний раз я у них была на свадьбе, Яня своего сына женила, Тадека. Такой, скажу вам, красивый парень, высокий, в деда, сильный, волосы черные, густые... Мы на ту свадьбу все ездили: я, мой муж, и дочку нашу взяли... Вот радости было!

Мария Михайловна встает:

— Ну, Зоя, там, поди, все кипит и булькает, на плите. Неси обед, покормим товарища писемника, а я сейчас ему что-то покажу...

Она открывает дверку книжного шкафа и достает большой фотоснимок в скромном картонном паспарту. Из овала смотрит на меня красивый молодой человек с двумя лейтенантскими кубарями в петлице. У него спокойное лицо, глаза широко расставлены, высокая шапка светлых — видимо, русых, — волос...

1983 г. — 1984 г.

Гродно — Кемерово

— Вот, — говорит Мария Михайловна, — это и все, что осталось от моего Пети. Это старый еще снимок, еще до школы милиции снят. Я его в Ростове, у мамы, нашла, только он маленький был, а я пересняла... А в сорок девятом я с одним человеком познакомилась, с хорошим человеком... И очень он просил замуж за него пойти.. А я вот не решилась, Петю пожалела...

...Не помню, что был за обед: не то во мне было состояние, чтобы замечать. В гостинице перебрал все свои записи и увидел, что многое упустил: надо было бы расспросить про Фадеевых; и еще подробнее, как жила Зоя у Корноцевичей; и видела ли она, как проходили немецкие войска в сорок первом или наших военнопленных и что при этом думала; и был ли в Зельвинском районе партизанский отряд; и как в июле сорок четвертого года проходили здесь советские войска, изгоняя немцев...

Утром я покружил по номеру, поглядывая на телефон: все не решался позвонить, что-то во мне восстало, в душе, в сознании. Зачем? Ведь я точно знаю, что кончу повесть о Семине Васильевиче Юрине событиями первых суток войны, исходом ночи с 22 на 23 июня, а дальше писать не буду. Для чего же мне все это, все, что записал у Хорошиловых?

Нужно ли будет все это для повести, я еще сам толком не знаю, а на простое любопытство я права не имею...

«Я так и не решился на третий звонок и на третью встречу. Верно ли сделал? Не верно? Пожалее ли когда об этом? Кто знает?